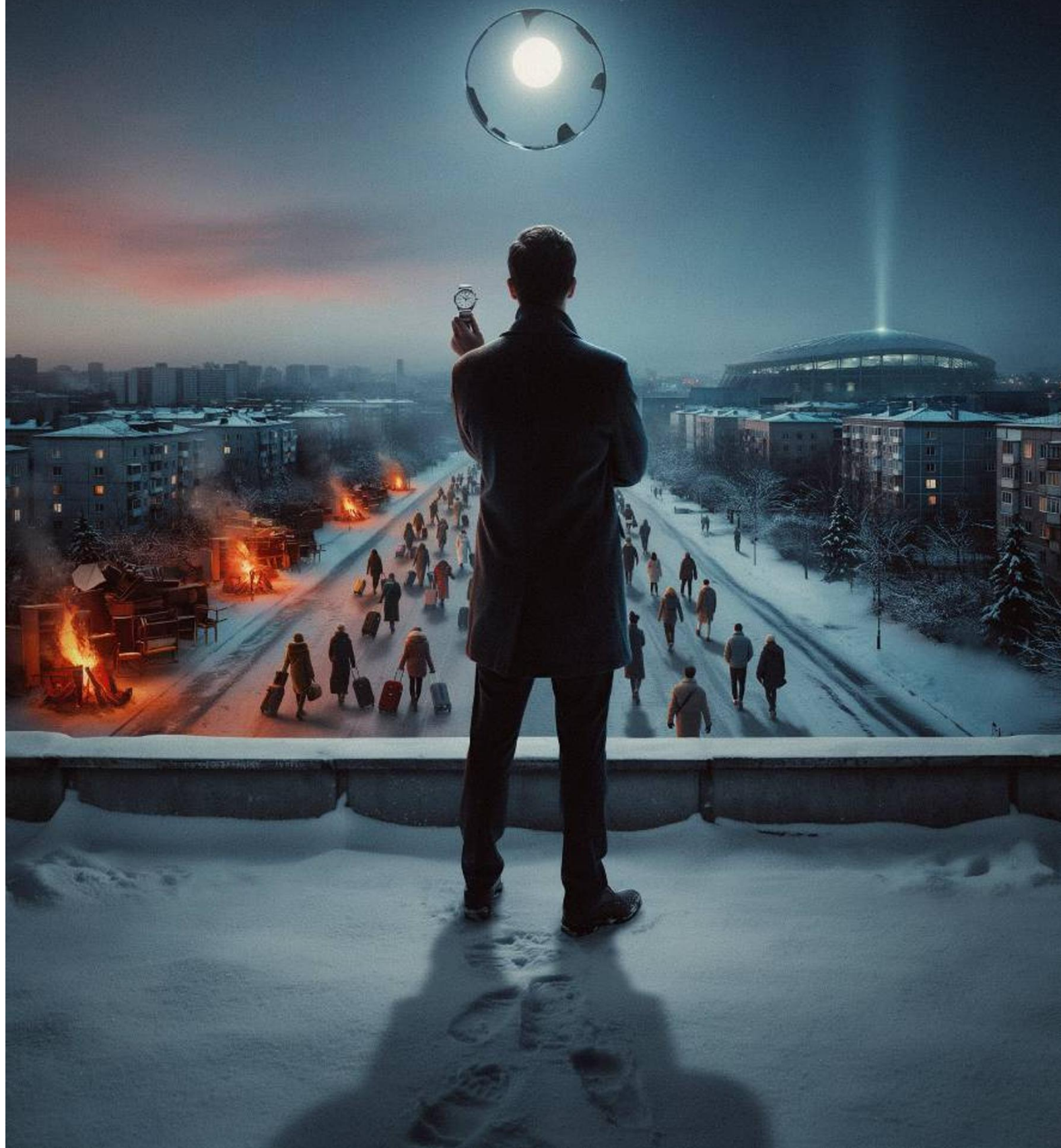


Великое Переселение

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Великое Переселение

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Великое Переселение / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Хироси Танака, астроном, потерявший жену и разучившийся быть отцом, замечает то, чего не замечал никто: сотни звёзд соседней галактики движутся не по своим орбитам. Их волокут. И Меркурий уже разбирают на детали. Пока учёный комитет объявляет его сумасшедшим, а над Землёй смыкается кольцо неземного зеркала, дочь Хироси вливается в «Хор» — тёплую сеть, где обещают конец боли ценой самого себя. Долгая тьма падает на планету посреди июля. И только один человек, всю жизнь боявшийся отдавать, догадывается, чем можно накормить бога, который ест целые виды: кривой колыбельной, которую нельзя спеть хором.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Дрейф	5
Часть вторая. Метка	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Великое Переселение

Часть первая. Дрейф

Окно открывалось на четыреста семьдесят секунд, и где-то на середине этих секунд зазвонил телефон.

Хироси не отвёл взгляда от экрана. Спектрограф собирал свет карликовой звезды в рукаве Персея — свет, вышедший в дорогу, когда на Земле ещё не было письменности, — а облачный фронт уже полз с запада и нащупывал край купола длинными серыми пальцами. Восемь минут, и атмосфера над Атакамой закроется до утра. Окно не повторялось. Телефон повторится.

Он знал этот расчёт наизусть, знал его телом, как пианист знает клавиши в темноте. Всю жизнь он выбирал между тем, что уйдёт, и тем, что подождёт, и всю жизнь оказывался прав в этой арифметике и неправ во всём остальном. Он вёл пальцем по колёсику фокуса, слушал, как под куполом ворочается монтровка — тяжёлый, терпеливый зверь, — и не думал о том, что колёсико под пальцем теплее, чем всё, к чему он прикасался за последний месяц.

На экранчике телефона горело «МЭЙ», гасло и загоралось снова. Он смотрел, как под именем набегают цифры отсчёта фотонов, как в спектре складывается тонкая линия поглощения, которую он ждал три ночи, — и держал ладонь на пульте, не касаясь трубки. Двенадцать секунд. Ещё двенадцать. Имя дочери погасло и больше не зажглось.

Тишина в куполе стояла плотная, как вода. Гудели криокулеры. Пахло озоном и холодным металлом. На запястье у него замерли часы — механические, женские, слишком маленькие для его руки; стрелки стояли на трёх часах четырнадцати минутах уже пять лет. Он их не заводил. Завести их означало бы согласиться, что время после той минуты продолжало идти.

Сбор закончился. Линия легла в архив — чистая, красивая, никому на свете, кроме него, не нужная. Он открыл окно сообщения. Курсор мигал в пустой строке под именем Мэй.

«Прости», — набрал он. Стёр. «Я видел твой звонок». Стёр. «Мэй, я». Курсор мигал. Он смотрел на него, пока это мигание не осталось единственным движением в мире, и закрыл окно, ничего не отправив, — как закрывал вчера и позавчера, — и вернулся к небу, потому что небо не требовало слов, которые не были бы данными.

Когда-то, до всего, он однажды взял её с собой — не сюда, на другую гору, в другую жизнь — и посадил семилетнюю к окуляру. Она считала звёзды вслух, сбилась где-то на трёхстах и вдруг заплакала. Он испугался, что от страха; оказалось — оттого, что их слишком много. «Я не успею полюбить все, папа», — сказала она, размазывая слёзы кулаком. Он не нашёлся тогда что ответить, как не находился и потом, но запомнил, как она сунула холодную ладошку ему в руку и не отпускала до самой машины, и как это был единственный раз, когда небо и дочь оказались в одном кадре и не спорили за него. Аико была ещё жива. Лёд ещё не встал. Он не знал тогда, что это и была та живая связь, которую он после разменяет на окна, — и что из всей астрономии запомнит именно это: тёплую ладошку и слишком много звёзд.

Он был хорош в этом — в возвращении к небу. Тридцать лет он умел то, чего не умеет почти никто: сидеть неподвижно шесть часов, дыша ровно, чтобы не сбить экспозицию, и ждать, ждать, ждать, отдавая всю ночь за одну линию в спектре. Это называлось терпением и приносило премии. Дома то же самое называлось иначе и приносило тишину — ту, в которой сперва перестала с ним говорить Аико, а потом Мэй. Он умел ждать что угодно, кроме людей. Люди не выдерживали его терпения: оно было направлено мимо них, в холодную точку за их плечами, где загорались числа.

Тогда он и заметил.

Ночная астрометрия шла фоном, сама собой: широкоугольная камера всю ночь мерила положения опорных звёзд, тысяч звёзд, с точностью до микросекунд дуги. Обычно он не смотрел на эти таблицы — их читали машины, а он читал машины. Но сейчас, скользя взглядом от нечего делать, он зацепился за строку, где собственное движение звезды не сходилось с каталогом. На волосок. На ничто.

Он усмехнулся про себя — инструментальный дрейф, тепловая деформация зеркала за ночь остывания, самое скучное, что бывает, — и пометил строку на утро, калибровщикам. Облако накрыло купол. Небо закрылось, тихо и окончательно, как закрывают глаза покойнику. Он поехал вниз, в общежитие, спать, и по дороге забыл и о строке, и о том, что дочь звонила ему в час, когда у неё дома была глубокая ночь.

Наутро строк было не одна. Их было четыреста.

Калибровщики сказали, что зеркало в порядке.

— Мы прогнали всю ночную серию, — молодой техник говорил осторожно, как говорят с человеком, чью ошибку нашли, но не хотят называть ошибкой. — Термы в норме, юстировка в норме. Приборного дрейфа нет, доктор Танака. Если у вас звёзды поехали — это не у нас.

— Я знаю, что это не у вас, — сказал Хироси. — Спасибо.

Он спустился в аппаратную, куда обычно заходил только ругаться, и не ругался. Он поднял архивы — все, до которых дотянулся за утро: европейский обзор, японский, старый американский, чей диск гнил на серверах двадцать лет и который он реанимировал грубой силой и матерным терпением. Он привёл их к одной эпохе, к одной системе отсчёта, и попросил машину показать не звёзды, а разницу — между тем, где звёзды должны быть, и тем, где они есть.

Разница была не шумом.

Шум — это россыпь, облако без центра, дыхание приборов и атмосферы. А тут крохотные стрелки собственных движений, в доли секунды дуги за десятилетия, складывались в узор. Сотни систем в ближних рукавах Галактики смещались не как попало. Они смещались внутрь. К одному месту. К тому тяжёлому чёрному сердцу, вокруг которого всё и так вращалось, — но эти шли к нему поперёк своих орбит, быстрее, чем позволяла орбита, будто их подтягивали за невидимую нить.

— Случайность так не выглядит, — сказал он вслух, пустой аппаратной.

Случайность рассеивает. А это стягивало. Он гонял модель час, другой, менял знаки, искал ошибку в собственной руке — ошибку было бы легче принять, чем то, что оставалось, когда ошибок не находилось. Гравитация одного тела так не работает: слишком много систем, слишком согласованно, слишком поперёк орбит. Как если бы кто-то встал посреди площади, и толпа, сама того не замечая, начала сходиться к нему — не к выходу, не от давки, а к нему, тихо, отовсюду, по всей площади разом.

За узким окном аппаратной вставал рассвет, и рассвет был неправильного цвета. Не золотой над бурой пустыней, а мутно-красный, будто в воздух подмешали ржавчины. Хироси отметил это краем сознания — пыль, дальний пожар, сезон, — и не встал закрыть жалюзи. Кофе в кружке остыл нетронутый. Он смотрел на четыреста стрелок, идущих к одной точке, и впервые за много лет чувствовал под ложечкой то забытое, тонкое, почти постыдно сладкое: он видел то, чего не видел до него никто.

И следом, холоднее, тем голосом, которым сам себе портил всякую радость: если это правда, то это не открытие. Открытие — это когда находишь закон. А закон стрелок не рисует. Стрелки рисует чья-то рука.

Ирене Ковач он застал под вечер, когда она только просыпалась: приборщики в обсерватории живут по звёздному времени, наизнанку к остальным людям. Он позвонил ей, потому что она была единственным человеком на горе, который на его памяти ни разу не сказал «наверное».

Она заведовала приборами и всем конвейером обработки — той невидимой машинерией, что превращала фотоны в таблицы, — и относилась к своим программам с ревностью, какой другие не относятся к детям.

— Танака, — сказала она вместо «алло», ещё хрипло со сна и уже зло. — Если ты разбудил меня из-за юстировки, я спущу тебя с горы пешком.

— Я хочу, чтобы ты доказала, что я ошибаюсь.

Молчание. Он услышал, как она садится в постели.

— Это что-то новое, — сказала она другим голосом. — Обычно все хотят обратного. Ну, говори.

Он рассказал — не про звёзды, а про конвейер: как тот складывает движения, как вычитает эпохи, где мог бы вкратце общий ложный сдвиг, системный, тот, что прикинулся бы узором. Он подавал ей одну за другой все лазейки, все места, где его собственная машина могла его обмануть, и ждал, чтобы она захлопнула хоть одну и дала ему спать спокойно.

Она молчала долго. На том конце стучали клавиши — она подняла конвейер прямо из постели.

— Нет, — сказала она наконец, и в этом «нет» не было ни торжества, ни жалости. — Тут чисто. Если бы врал мой конвейер, он врал бы по-другому: рассыпал бы, а не собирал. Собранное — не мой брак, Танака. Собранное пришло снаружи.

— Спасибо.

— Не благодари. Ты разбудил меня, чтобы я подписалась под тем, что тебе одному подписывать страшно. Я подписалась. Теперь и мне не спится. — И, помолчав, тише: — Что это такое, по-твоему?

— Пока не знаю, — сказал он, хотя знал уже почти всё, кроме одного слова, которое поставит только к ночи.

Он позвонил Мэй только вечером, когда сам решил, что готов, — то есть когда откладывать стало стыднее, чем звонить.

Она ответила на шестом гудке, и по одному её «да» он услышал, что она не спала и что ждала не его.

— Это я, — сказал он.

— Я вижу, кто это, папа. У меня определяется номер.

Пауза. В трубке за её спиной был какой-то ровный звук — не музыка, а будто много голосов тянут одну низкую ноту, далеко, за стеной, без слов и без конца.

— Ты звонила ночью, — сказал он. — Я работал. Было окно.

— Конечно, было. — В её голосе не было упрёка, и это было хуже упрёка. — У тебя всегда окно. Я звонила спросить, помнишь ли ты, какое сегодня число. Но это уже неважно.

Он посмотрел на угол экрана, где стояла дата, и что-то под рёбрами медленно опустилось. Пять лет. Сегодня было ровно пять лет с той минуты, что стояла у него на запястье.

— Мэй...

— Не надо. — Тихо, без злости, и от этой безжалостной мягкости он на секунду перестал слышать крикулеры. — Я не для того звонила, чтобы ты извинялся. Я звонила, чтобы кто-то ещё помнил вместе со мной. Но я нашла, с кем.

— С кем?

— Это неважно. — И вдруг сквозь ровность проступила прежняя Мэй, острая, живая, та, что защищалась насмешкой, потому что по-другому не научилась. — Хочешь, запишешь? Ты же любишь измерять. Запиши: сколько во мне сегодня. Бесконечность, папа. Округли до целых, если бесконечность не влезает в твои таблицы.

Он открыл рот. Двенадцать тысяч лет свет шёл к нему от карликовой звезды, и он нашёл для него слова, точные, красивые слова. Для дочери, до которой было три тысячи километров и одна минута молчания пять лет назад, слов не находилось ни одного.

— Кто такая тётя Сана для тебя теперь? — спросил он вместо этого, потому что имя, которое он не назвал, всё равно висело в трубке.

— Она говорит, что тебя не за что винить. — Мэй сказала это осторожно, словно пробуя чужую мысль на язык. — Что каждый спасается как умеет, и ты просто умел только так. Знаешь, впервые кто-то объяснил тебя так, что мне стало легче, а не хуже. Ты за всю жизнь не сделал мне легче ни разу. А она сделала за месяц.

Он мог бы сказать: я всё это время не знал как. Мог бы сказать: я боялся, что если подойду ближе, ты увидишь, что внутри у меня те же приборы, что и снаружи, и больше ничего. Слова стояли в горле — впервые за годы настоящие, не отчётные, — и он, как всегда, пропустил окно, в которое их можно было сказать: искал самую точную формулировку, а окно закрылось, пока он искал.

— Мэй, где ты сейчас?

— Там, где меня держат, — сказала она. Ровный хор за её спиной придвинулся ближе. — Спокойной ночи, папа. Закрой своё окно.

Отбой был мягкий, почти нежный. Хироси ещё держал трубку у уха, слушая, как гудок сменяет тот низкий далёкий звук, и не мог решить, звук ему почудился — или он всё ещё есть, и был всё это время, и будет.

Ночью он не пошёл спать. Он вернулся к четырёмстам стрелкам, потому что стрелки не спрашивали, какое число, и не делали легче — они делали точно, а точность он ещё умел выносить.

Он разбирал их по одной: какая система, какая звезда, что о ней известно, кто и когда её мерил. На девятой он остановился.

Звезда была рядовая, жёлтая, чуть старше Солнца, в двух сотнях световых лет — из тех, мимо которых глаз скользит, не зацепившись. Но в её свете, если развернуть его тонко, в самом спектре, сидела крохотная неправильность. Провал там, где провала быть не могло. Часть звезды будто занавесили. Свет уходил от неё не во все стороны поровну: с одного бока его словно отводили — собирали, разворачивали и толкали, толкали саму звезду в спину, туда, внутрь, к тяжёлому сердцу Галактики.

Хироси знал это слово. Он читал его в старых, полубезумных статьях, которые пишут, когда хотят прославиться или когда уже нечего терять, — и никогда не думал, что впишет его не в лекцию, а в наблюдательный журнал, своей рукой, в четыре утра. Зеркало. Оболочка в пол-звезды, тоньше мыльной плёнки, прочнее всего, что человек умел делать, — ловушка для света, обращающая свет в тягу. Двигатель, у которого горючее — сама звезда.

Он проверил вторую систему из четырёхсот. Провал был и там. Третью — был. Не везде удавалось развернуть свет так тонко, не всякая звезда отдавала спектр, но там, где отдавала, узор повторялся с механическим упрямством: звёзды не падали к центру Галактики. Их туда везли.

Он работал до серого света в окне, по звезде за десять минут, и с каждой звездой то забытое, постыдно-сладкое чувство первооткрывателя вытекало из него, как тепло из тела, и на его место натекало другое, тяжёлое и взрослое. Он думал о числах. Тридцать тысяч световых

лет до центра. Тяга двигателя Шкадова — квинтиллионы ватт, но приложенная к массе целой звезды, она разгоняет её медленно, десятки тысяч лет от толчка до толчка. Значит, это началось не вчера. Значит, тот, кто это делает, мерит время не годами и не веками, а чем-то, для чего у людей ещё нет слова, — и внутри этого нечеловеческого терпения он, Хироси, со своим терпением на шесть часов экспозиции, был не наблюдателем, а мошкой, случайно поднявшей глаза в чужой рабочий день.

И всё-таки, среди этих чисел, одно не складывалось. Меркурий. Разбор целой планеты за год — это не медленно. Это быстро, немыслимо быстро, если только материал не собирает себя сам, размножаясь на лету. А значит, у медленного и терпеливого была быстрая рука. И эта рука уже тянулась в его собственный двор.

Он медленно откинулся на спинку кресла. За окном красная муть уже затянула полнеба, и в этой мути пустынные звёзды казались подслеповатыми, как глаза старика. Где-то в общегитии спали калибровщики, уверенные, что зеркало в порядке. За три тысячи километров спала — или не спала — его дочь, которой стало легче оттого, что чужая женщина сняла с неё его вину и надела вместо неё что-то, чему он ещё не знал названия. А над всем этим, тихо, без единого сигнала, без объявления войны, кто-то собирал обитаемое небо в горсть.

Он потянулся к каталогу и, уже зная ответ и всё-таки надеясь ошибиться, набрал в строке поиска одно слово: «Солнце».

Система нашлась сразу. И напротив неё, в графе, которую он сам же три часа назад и завёл — «признаки направленного дрейфа», — стояло то, чего он боялся больше всего на свете, потому что это было не число.

Стояла галочка.

Часть вторая. Метка

Комитету он показал не страх. Комитету он показал числа.

Их было семеро за длинным столом, и восьмым — экран, на котором Хироси развернул то, что складывал три недели, ночь за ночью, отобрав у сна всё, что сон ещё соглашался отдавать. Дрейф. Зеркала. Тяга. Он вёл их спокойно, как ведут первокурсников: от очевидного к невозможному, ступенька за ступенькой, не давая перескочить, — и видел по лицам, что до середины они с ним. Кивали. Хмурились правильным рабочим хмурым. Один даже подался вперёд.

До середины.

— А это, — сказал он и сменил кадр, — наш дом.

На карте была внутренняя Солнечная система. И там, где полагалось быть Меркурию — маленькой, быстрой, надоедливой точке, которую он полжизни считал помехой на своих снимках, — астрометрия показывала не точку, а смазанное, тающее пятнышко. Рядом он положил кривую: масса внутри орбиты Меркурия убывала. Медленно. Ровно. Без всплесков, без колебаний, с той тошнотворной равномерностью, с какой работает не катастрофа, а машина.

— Меркурий разбирают, — сказал Хироси. — На материал для оболочки. С внутренней планеты начинают всегда — она ближе к звезде, её дешевле возить. Это не прогноз. Это уже год как идёт. Гравитационная подпись однозначна, я проверил тремя независимыми методами, выкладки в приложении, страницы с четвёртой.

Тишину нарушил доктор Арена — не сразу, а выждав ровно столько, чтобы всем стало ясно, кто здесь взрослый.

— Хироси, — сказал он мягко, по имени, как говорят с больным. — Мы все знаем, какой это для тебя месяц.

— При чём тут месяц.

— Пятая годовщина. — Арена чуть склонил голову. — Никто в этой комнате не бросит в тебя камня. Но я обязан сказать вслух то, о чём остальные молчат из вежливости. Человек под большим горем видит узоры. Это не слабость, это как устроен мозг. Он тянется собрать боль во что-нибудь огромное и осмысленное, потому что огромное вынести легче, чем бессмысленное.

— Вы смотрите на подпись массы и говорите мне про мой мозг.

— Я смотрю на человека, который три недели не спал и принёс мне конец света. — Арена развёл руками, и в жесте было столько отрететированного сострадания, что Хироси захотелось разбить экран. — Ты просишь совет обсерватории официально объявить, что некто разбирает Солнечную систему. Ты понимаешь, что случится с этим институтом наутро после такого заявления? Со всеми нами? С грантами, на которые живут вон те двое молодых?

— Я прошу одну ночь на большом зеркале. Одно прямое наблюдение Меркурия. Оно либо подтвердит подпись, либо снимет её, и тогда я первый встану и извинюсь перед каждым из вас поимённо.

— Мы не дадим тебе ночь на большом зеркале, чтобы ты гонялся за собственным горем по всему небу. — Арена сказал это по-прежнему мягко, и мягкость была страшнее любого крика. — Мы дадим тебе отпуск. Оплачиваемый. И телефон одного хорошего человека, с которым полезно поговорить.

Кто-то за столом кивнул. Кто-то смотрел в свои бумаги. Тот, что подавался вперёд, теперь сидел ровно и разглядывал стену. Никто — ни один из семи — не смотрел на подпись массы, на кривую, которая шла вниз ровно, как приговор. Они смотрели на Хироси, и в их глазах он уже был не тем, кто нашёл, а тем, кто сломался.

— Проверьте Меркурий, — сказал он ещё раз, тихо, уже не комитету, а той единственной части в каждом из них, которая когда-то шла в науку не за грантами. — Не ради меня, меня

спишите. Просто наведите на Меркурий любое зеркало в любую ночь и посмотрите сами. Одна планета. Один взгляд. Это всё, о чём я прошу.

Молодой — тот, что вначале подавался вперёд, — на секунду поднял глаза, и Хироси прочёл в них, что тот верит. Верит и молчит, потому что за спиной у него грант, кафедра, только начатая жизнь, и всё это держится ровно на том, чтобы не наводить сейчас зеркало на Меркурий. Мальчик отвёл взгляд. Это было честнее, чем у Аренаса, и оттого больнее.

Он собрал бумаги. Руки не дрожали. Хуже: они были спокойны, как у человека, который всё понял.

К вечеру у него отобрали доступ к массиву.

Формально — «до конца оплачиваемого отдыха». По сути — он вышел из аппаратной, приложил карту к двери, и замок не мигнул зелёным. Он приложил ещё раз, тупо, как прикладывают ключ к чужому дому. Красный. За стеклом двери горели его же экраны, шли его же данные, и он стоял по эту сторону, отрезанный от неба впервые за тридцать лет.

Он не стал стучать. Стучать было не к кому.

Ролик разошёлся к ночи. Кто-то из младших — он так и не узнал кто, и не хотел знать, — снял с телефона кусок его доклада: не начало, где числа, а середину, где он говорит «Меркурий разбирают» с той сухой уверенностью, которая без трёх недель за спиной звучит как бред нищего пророка. Подпись была короткая и меткая, как всё, что расходится: «Астроном хоронит Солнце». К утру под роликом стояло полтора миллиона просмотров и тёплая, почти ласковая жестокость — не злость, а сочувствие, которым добивают. Кассандрой его никто не назвал; для этого надо было допустить, что он прав. Его называли уставшим папой, который перепутал небо со своей потерей.

Он не оправдывался. Оправдываться числами перед теми, кому числа не нужны, он умел не лучше, чем говорить с дочерью. Он сделал одно: снял с обоих серверов, к которым ещё имел доступ из дома, полные копии всего — дрейф, подписи, выкладки — на два жёстких диска и убрал их в сумку. Это он проделал спокойно и быстро, инстинктом человека, который однажды уже потерял навсегда то, чего не успел скопировать, и с тех пор копировал всё, кроме живого.

Телефон дрогнул один раз — сообщение. Он думал, опять кто-то прислал ссылку на ролик с приветом, но это была Ирене.

«Видела эту мерзость. Они идиоты, а идиотам страшно, — прочёл он. — Я тоже проверила Меркурий по-своему, из архивов, без большого зеркала. Подпись на месте, Танака. Она никуда не делась оттого, что тебя выгнали. Не пропадай».

Он смотрел на экран дольше, чем на все семь лиц за столом. Три недели он собирал конец света в одиночку, уверенный, что одиночество — единственный честный способ нести правду; и вот один человек написал ему четыре строки, и от этих строк в горле встало то, чего не встало ни на комитете, ни в пустой квартире сестры. Он набрал «спасибо», стёр, набрал «ты веришь мне?», стёр. В конце отправил: «Не пропаду». Впервые за долгое время он не искал самую точную формулировку. Он просто ответил, пока окно было открыто.

Потом он поехал вниз, в город. Наверху больше нечего было делать. А внизу была Мэй.

Небо по дороге стояло двухцветное. Обычный закат догорал на западе привычным бурым, а на востоке, низко над горизонтом, держалась вторая заря — бледная, ровная, мёртвая, будто кто-то оставил включённой очень далёкую лампу и ушёл. Люди на обочинах стояли, задрав головы. Не разбегались, не кричали. Многие улыбались, и кто-то, он заметил в свете фар, беззвучно шевелил губами, будто повторял за небом слова, которых Хироси не слышал.

Дверь квартиры сестры Аико открылась сама — не заперта.

— Мэй, — позвал он в тёмную прихожую. Пусто. — Мэй!

Он прошёл по комнатам, зажигая свет, и в каждой свет ложился на порядок, какого не бывает в живом жилье. Её комнату он узнал сразу, хотя никогда в ней не был: узнал по тому, чего в ней не хватало. Прибрана она была не перед выходом, а насовсем — без единой мелочи на столе, без обжитого хаоса человека, который собирается вернуться. Подушка лежала ровно. Не было мультитула, который он подарил ей в четырнадцать и который она носила назло ему, именно потому что подарил он. Не было серого маминого шарфа — длинного, в котором Аико куталась последние месяцы и который Мэй забрала себе молча, ни у кого не спросив, в день, когда гроб опускали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.